

П Р О З А

С.Коровин

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРУЖИЯ

(отрывок из повести)

Раньше море приносило нам стеклянные шары.

[Каждый день с пляжа несли разные пробки, веревки, бутылки, спасательные жилеты, чемоданы, доски. Раз приплыло колесо. Но тех, кому доставались стеклянные шары, называли счастливыми. Это называлось "подарок судьбы".

По утрам и на закате за ними охотились, но только пугали чаек, и, казалось, что найти его, хоть один, уже невозможно, немисливо, так же немисливо, как увидеть в этом заливе настоящие корабли. Сколько себя помним — пустая равнина и линия. Залезали на деревья, но не могли разглядеть обломки какой битвы, скандала, потасовки приносят нам волны; откуда плывут к нам стеклянные шары?

Но те сейнера, выходя из устья, где у них база, тут же исчезают, с плоского берега не видно, куда они деваются, откуда приходят потом илтые и ржавые, с охрипшим экипажем, с припрятанными под салаку угрями и лохами. А лох — это красная рыба, это — добыча! Значит они ходят туда, за линию, рискуя, в лучшем случае, краской, потому что здесь давно никто не видел даже кобзды, так говорят.

За ними прилетали чайки, которые устали работать и качались в волнах, приглядывая за нами впологлаза, мечтая выйти походить ножками, когда мы наконец уберемся. Они всегда смотрят в сторону черты.

Есть фотография, тогда Гаврилычу пришлось долго пятиться, рискуя искупать "Роллейфлекс", и шелкать потом в полной безнадежности — ничего нет: ровная кромка прибоя, ровная дюна, четкая челка сосен и какие-то козявки, наверно, дети, еле заметные на огромном пустом пляже, что-нибудь тянут, или закапывают свои сандалии.

Теперь там лучше всего в сентябре, когда в лесу уже делать нечего, и в саду, и на той стороне, а на пляже — только гулять, и мамы разведуются, потому что им нет дела до линии, и на кромке прибоя им нечего делать. Вечер не вечер, но светятся окна в санатории на втором этаже, потому что внизу холодно, и в башне у сестры-хозяйки. Шелкают еще на бильярде. Попадают редкие дачники: дамочки без детей, вечные пенсионеры, вроде Гаврилыча с Мариванной, запутанные компании и те, невидимые, которые пият у себя за забором с утра до ночи или бьются на лужке перед домом за жизнь какого-нибудь опея-виляса, с тем же упорством, с каким прежде там, в больших городах, боролись за то, чтобы таких драндулетов не было.

Вечером всех можно встретить на море. Приходят смотреть, как солнце садится в блестящую дугу: раскланиваются со встречными, перего-

вариваются, пугаются: "Что это?", когда из сумерков джон вылетят утки. И хотя солнце чаще садится в тучу, они приходят и стынут на ветру, и все оборачиваются к убегающей дуге, когда уходят. В конце сентября долго не погуляешь.

В темном парке их поджидает где-то сияющий саксофон, но они храбро проходят мимо: "Домой, домой. Надо. Завтра хотели пораньше, — говорят они, — до свидания. Очень было приятно. Это в "Маяке" гуляют рыбаки." Дачники туда ужинать не ходят.

Они говорят: кухней воняет и шумно. А завтракать и обедать не брезгуют, особенно по четвергам, когда дают рыбу. Бывает карп, бывает форель. Кстати, и треска по-польски — очень неплохая, говорят, потому что не мороженная.

Папаша рассказывал, что раньше, когда не было "Маяка", приходили люди и стучали в калитку: "Мальсик, скажи хасяаике: шифайя риппа". От них пахло, как на реке, где сохнут мережи. Их дразнили: "Скачет Снитта по полям, а Карытта по лугам, туллесиярутуруту, приходите в гости к нам..." Сразу открывается торговля: рыбы лежат, им заглядывают в жабы. Но очень хотелось заглянуть в мешок, вдруг оттуда, где светятся волчьи глаза судаков, выкатится на траву тот шар. Ситто и Корытта тоже хитрые: они его прячут, а раз он выкатился, то Мариванна скажет: "Очень ютати", и велит его взвесить, как лоха, которого берут к маминому дню рождения, и безмен прицепят на крюк гамака, и мы будем считать черточки, а каждая черточка — четыреста грамм.

"Я раз говорю, — сказал Папаша, — а если заказать, то они принесут? Но Мариванна смеется: "Ты только послушай, Варя, чего он захотел!" Они чистят сига. Кот лапу тянет. В тазу скользят минюги — они скоро застынут, потому что соль забила им в дырки. А вот на соседней даче у Тимбергов их жарили живьем, — так говорят."

В то утро мы дошли до почты и стали у телефона, где теткисидят очереди. Одна кричала в кабине: "Да, да, мама, ем! Сегодня пойдем карпа есть. Нет! Одна. Нет! Шторм невообразимый был. Нет, не холодно. Нет, мама, не холодно!" ←

Бывает диву даешься, где они все разнихают?

Анна сказала: "Что, кто-нибудь звонить собирается?", но тут будка открылась, и Папаша сказал: "Здравствуйте, Лариса Аркадиевна. Вот, позвольте вам представить. Впрочем, вы, наверно, уже знакомы", она сначала растерялась, а потом подала руку: "Очень приятно", и мы пошли вместе.

По дороге мы вспомнили : это когда снимали на Речной у лесника, так она с матерью жила там на первом этаже, вход с веранды, и все вместе ездили на ту сторону за земляникой в окопы против рыбокомбината, где торчали пни в рост человека и росли дудки, из которых можно сделать все, что угодно, например, водяной насос.

Это совсем просто : от самой толстой отрезаешь доньшко — получается длинный стакан, потом вставляешь, которая потоньше, проковыриваешь дырку и готово — поливайся. А чтобы сделать еврейское ружье, дырку надо делать не в доньшке, а сбоку, тогда оно сикает из-за угла. Еще делали пушку и подзорную трубу — через нее видно, но дуплет глаз. Сначала интересно, а потом надоест и валяется где-нибудь под раскладушкой, и никто не может понять откуда запах, будто ветер тянет с той стороны, и сами не понимаем, пока не потеряется майка или сандалина, не начнут шуровать веником, а там — подзорка, треснула, засохла, но пахнет, как новая.

Анна сказала: "Выглядит на сорок лет".

Нет, просто серьезная. Ей и тогда наши дудки были неинтересны. Она везде ходила с мамой. А мать ее — Веранда — невропатолог — всем советовала чистить зубы только холодной водой, а про шары говорила, что все это — глупости.

Мы раз увидели, что Веранда зашла в кусты, а этот подкрался и как завоет, ну та и выскочила на просеку, подумала, что медведь, потому что лесник предупреждал и придуротный перевозчик рассказывал про бабку, которую вез перед этим, а та сама видела : " Черный такой и когти, как у монтера ". Истинный черт. "

Потом она посоветовала поделаться мальчику холодные ванночки, обтирания, последить, чтобы он чистил зубы холодной водой. "Поверьте, это весьма эффективно,— говорит Веранда,— когда у нас кошка Соня бесится, я ее сажаю в тазик с холодной водой, и она снова, как шелковая".

Мариванна чуть со смеху не помирает: "Теперь тебе понятно, Варя, почему она ходит на ночь купаться?", они глядят, как уплывает в сумерки за забор китайское полотенце. "Нет, Варя, я все понимаю, но я ненавижу спесь". Мы ничего не поняли. Но кто тогда что понимал? И вообще, кому это было надо?

Папаша сказал, что мы сидели в природной сфере, ограниченной геометрией зрения, которую пытались расширить на свой страх и риск, и все без толку: залезали на деревья, подсматривали за теткой на метеостанции и каждый день приходили на море.

А когда случилась та история с анькиной матерью, мы все принесли к ее дому шары. "Потому что, — сказал Папаша, — вычитали где-то, кажется у японцев, что они должны оживлять мертвых, и поверили, потому что они приплывали оттуда."

Ведь патроны, гранаты, которые мы выкапывали на той стороне, мы знали, должны убивать.

У аптеки мы пропустили автобус и пошли через дорогу. Это темный парк. Иголки сыплются. Анна сказала: "Значит ветер на пляже". Тут всегда можно угадать, что там на море, хотя его и не видно.

Папаша рассказывал, что однажды приехал и пошел не спеша, вот так же, как мы сейчас, и видит, что тир закрыт, закрыта вот эта стекляшка, на окнах в пансионате ставни, и нет возле урны ни одной обертки от мороженого, а когда добежал, увидел, что там никого нет, только какая-то девчонка напротив "Лайны" идет, загребаёт ногами песок. Вдруг бросила туфли, портфель, отстегнула передник и стягивает через голову коричневое платье с манжетами;

Папаша сказал, что он даже зажмурился: "Мать честная, кто бы мог подумать, что тут какая-то школа есть!" Побежала в синем купальнике-сатиновом, с цветочками, скачет по воде. Забрызгалась, выходит. Мокрые руки, колени, сейчас ступит на песок, а у нее за спиной сияющая равнина и та линия, за которую мы хотели заглянуть.

"Да, — сказал Папаша, — хотели. Как дураки, залезали на деревья, шею вытягивали. Нам и в голову не приходило, что она здесь — вот, а там, там — всего лишь ее отражение".

"А море, — сказал Папаша, — было отчетливо, до самой черты — пустая сияющая равнина. Справа видно губу, а слева какой-то химический город, как на ладони, название которого никто не помнит, потому что его никогда не видели, и вовсе не потому что вечно туман или дождь, или ветер носит над морем пыльцу растений и пыль с дороги, а потому что на черта нам был этот город?"

"Толстая", — сказала Анна. Мы смотрели на них сзади. Она всегда была такая. Даже тогда, на Речной, когда ездили на ту сторону, она уже была со всеми делами, у Папаши тогда ничего не было. То есть было, конечно, но все это пребывало как-то врозь, в непрерывном вращении и держалось, казалось, на ремешке шортов.

"Знаешь, Варя — говорит Мариванна, когда видит их рядом, — если этот ремешок перетрется или порвется, то наверно, ноги разбегутся, а руки залезут на дерево. По-моему, мы его неправильно кормим. Вот какие должны быть дети у порядочных людей". Но мы тогда ничего не понимали.

Мы даже не обращали внимания, что за фуражка у перевозчика. У лесника тоже была какая-то кокарда, и рыбаки носили "крабов". Только кому это интересно — они же не военные.

А один раз, когда все вместе ездили на ту сторону, и только отчалили уже оттуда, мы сначала увидели, что Веранда вытаращилась на перевозчика, а уж потом услышали :

И машинисту молодому

Кричит кондуктор тормозной.

Она, наверно, испугалась, что эта песня про что-то такое, про что нельзя всем слушать, да и мы никогда не видели, чтобы он пел. А он еще все время поглядывал на ее девочку. Он смотрит туда, на весло, и поет, а потом посмотрит на нее и дальше поет :

И вдруг вагоны затрещали,

Свалился поезд под откос.

Три друга мертвые лежали

И не похожи на себя:

Один раздавлен паровозом,

Другой ошпарен кипятком,

И посиневший от мороза,

Лежал кондуктор тормозной.

А когда вылезали, он говорит, будто отвечает: "Нет, нет, а почему? — этого не скажу. Увольте — не имею права. Но я скоро должен ехать в управление, и если разрешат, то тогда скажу", — хотя его никто ни о чем не спрашивает: всю дорогу глядели по сторонам и помалкивали, даже на нас не орали, чтобы мы не свалились за борт.

Тут-то все и увидели, что у него на фуражке скрещенные молотки.

"Ну, Варя, — смеется Мариванна, — как тебе наш специалист-невропатолог?"

Веранда оступилась с мостков у перевоза, и теперь они смотрели, как она вешает сарафан.

Они внезапно остановились, так что мы чуть на них не налетели. Она, как вышла из будки, так все держала книжку и палец между страницами. Навстречу махали, мол, обратно! обратно!, какая-то старуха указывала в конец улицы, туда, где обычно синее, а там поперек дороги стоял грузовик и все загораживал непрошибаемым бортом. Сначала никто ничего не понял, потому что она не говорит по-русски.

Анна сказала: "Это та, что живет на "песках", у нее розы и старый "москвич". Тетки из санатория тоже было остановились, но переглянулись и припустили узнавать, что там, а их кавалеры, завидев такое дело, повернули к аптеке : и в "Маяке" можно пропустить утренний стаканчик, правда, не с видом на море, но, слава богу, можжевельника — везде можжевельника.

Они, видно, устали от пустопорожного флирта и посмеивались над тётками, которые забегали, как молодые, когда почуяли солдата. Понятно, что это не простой грузовик, раз тут, за квартал, висит "кирпич".

Мы решили пойти направо, мимо колхозного санатория, мимо клумбы, где поставили купальщицу. Папаша уверял, что из-за такого соседства отсюда убрали пионерлагерь и перенесли в лес, чтобы ни один пионер не мог добежать сюда поглядеть на непристойное так, чтобы там не заметили его отлучки.

"А я все думаю, кого она мне напоминает?" – сказала Анна.

Тут еще больше иголок на асфальте, а чухонский камень и, вообще, весь засыпанный. Это за два дня, пока штормило. Сегодня должно быть тише, потому что ветер переменился.

Папаша стал ей что-то рассказывать про камень, хотя все на табличке написано, да и вид у него такой, что еще когда никакой таблички не было, мы и то сами догадались, что это за штука. Ясно, что его притащили сюда к дороге от греха подальше: кровь-то с него не смывается. Правда, Мариванна говорит, что кровь не может так долго сохраняться, что ее через сто лет не определишь и специальным анализом. Только мы думали, что это не такая уж старая кровь. С чего бы его сюда притащили?

Нас там тоже завернули.

Можно, конечно, попробовать у метеостанции, но там надо перелезть забор. Раньше его не было. Так и ходили: от Семеновых, через овраг, мимо гуковой собаки, которая, если не надо было кидаться на забор и рычать на прохожих, катала по лужайке самый настоящий стеклянный шар, потом – дом престарелых, и лезь наверх по горячему песку на круче, по вереску туда, где над сизыми кустами, выше сосен, шевелятся флагера.

Теперь уже осень, а тогда мы тихо пробирались по свистящей осоке среди всяких треножников и столбиков, перешагивали градусники в песке, чтобы пройти мимо женщины, лежащей беспримечно и спокойно прямо под солнцем, вызываясь открыв ему одно место и розовые кружочки, с которых мы не сводили глаз. Мы не могли ее потревожить. Она смотрела над собой и ровняла песок.

Так и мы завидовали чайкам, сияющим над головой, набирающим высоту, чтобы кинуться в пропасть, в погоню за сейнером, уходящим на ветер к той голубой линии. И мы бежали вдогонку, по осыпи, гигантскими шагами, орали и махали рубашкой.

Оттуда весь пляж видно.

Анна сказала: "Если бы не эта корова, мы бы давно уже все узнали". Только вряд ли: там, у богадельни, тоже маячит зеленый фургон.

Два дня нельзя было выйти на море. А сегодня светло. Метелки чир-

какт. Повезли сломанные ветки. У базара, говорят, упала сосна, на курзале порвало железо и еще что-то.

"Все равно у него ничего с ней не выйдет", — сказала Анна и зашла в хозяйственный магазин. Ей там один сифон понравился, все ходит на него смотреть.

Рыбаки кричали через дорогу своему штурману: "Толя, Толя, не опоздай на судно!", а Толя тоже рулил в хозяйственный, но совсем не за сифоном, — за витриной ему навстречу повернулась заведующая. Она уже знает, зачем он идет, потому что заметила, что ветер переменялся, потому и усмехается, наверно: "Накие вы все-таки с утра — пацаны".

Мы как будто устали. Скорей дойти или сесть, или лечь, или что-нибудь съесть.

На зависть нам прошуршали гонтики.

Лариса Аркадьевна так и держала палец в книжке. "Вот, — сказала она, — никак не могу одолеть. А дома совершенно не будет времени".

"Ну-ка, ну-ка, — сказал Папаша, — о!"

В светлом парке на лавках сидели те самые кавалеры с газетами, но даже отсюда было видно, что они заняты более серьезным делом. Наверно, в "Маяке" кончилась можжевелька.

Раньше там, у пруда с лебединой беседкой, мы лазили за кедрами, которые охранял Карлуша. Его боялись даже рыбаки. Мы дразнились, что у него в кобуре не пистолет, а сосиска, а он говорил, что ему не нужно пистолета, потому что у него есть — вот, и он хлопал по широкому баку М-72. Он его, казалось, никогда не выключал, и где-бы мы ни шатались, что бы ни замышляли, всегда слышали, как бухают где-то цилиндры, и знали, что от него не удерешь.

Он выворачивал нам ниппея, а мы разглядывали солдата в середине красной звезды, приделанной к его гимнастерке.

Но когда удавалось, мы привозили за пазухой синие шишки, тяжелые, истекающие смолой, и выковыривали прозрачные ядрышки, рахнувшие карандашами, пока не склеивались пальцы. Потом нас терли одеколоном.

Папаша как-то спросил Анну, помнит ли она там черных лягушек? После дождя их бывало полно у пруда. Даже страшно — сколько их. Куда они шли? Маленькие-маленькие, черные, лезут в траве, по дорожкам, по шоссе. Карлуша говорил, что их нельзя убивать, потому что они с неба. Мы еще думали, как же они не разбились? Почему только в светлом парке?

Но Анна помнила только змею.

Она нас догнала к самого "Маяка". Оказывается, она купила сифон.

Слухи про карпа подтвердились. На втором этаже все шипело. Кухня спешила, но не поспевала. Ползала еще только поглядывали на дверь и переговаривались. Все явились пораньше, потому что известно : не успел и привет. Как говорится, опоздавшему — кость.

Говорили разное. Тетки кричали, что снимают кино, потому, мол, и пляж закрыли. Другие шепотом уверяли, что пожаловали какие-то "шишки". А один из этих, которые пилят у себя за забором, прикончил рагу, утерся и сказал, что все это — чепуха, просто там чего-нибудь разминируют, например, бомбу или целый склад, иначе зачем столько солдат в дачном месте в мирное время?

"Вот я помню в пятьдесят восьмом, — сказал он, у нас там, в одном месте, тоже в сентябре, разминировали фугас килограмм на двести, так всех эвакуировали, два квартала".

Но тут сзади кто-то кашлянул : "Простите, коллега. Мне думается, что здесь такого не было никогда и быть не может. Разумеется, хотелось бы знать, почему? И знаете почему? Потому что останься там, на пляже, от войны хоть какой-то металл, вот эти молодые люди, еще будучи нежными крошками, раскрутили бы его по винтикам, уташили бы на чердак или, как они тогда выражались, гробанули бы на месте безо всякой эвакуации." Мы обернулись. Навстречу нам блеснул желтый глазок "Роллейфлекса".

Теперь понятно, чья там внизу "Волга" прямо под знаком "Парковка запрещается".

Гаврилыч развел руками : " Простите, ради бога, простите. Какими, так сказать, судьбами? Впрочем понимаю — бархатный сезон, не так ли? Ах, как вы очаровательны сделались, — сказал он Анне. — Вы знаете, я ведь сразу и не узнал. Только, что это мы стоя? Прошу. Не откажите. Сейчас распоряжусь. Это — девочки."

Когда мы влезли за стол, его девочки не обратили на нас никакого внимания. Им и так было хорошо. Они чуть не помирали со смеху.

Лариса Аркадьевна уставилась на пустую бутылку, будто это какая-то опасная вещь. Так наши мамы когда-то ненавидели всякие штуки у нас в карманах : " А ну, немедленно выброси эту гадость!", хотя это были колечки от гранат, колпачки, гильзы — невинные железячки. Не такие мы были дураки, чтобы таскать домой настоящие лимонки.

" Господи, — сказала Анна, — какая дура".

Когда-то тут этого добра было навалом. Каждый день в лесу что-нибудь грохало, и мамки хватались за сердце, потому что знали, кто там забавляется.

Даже если не мы сами, а Витька Круглов или Некрасов, или Лиса, все равно они знали, что мы тоже там. Они уже проклинали себя за то, что связались с этим местом, но, видимо, надеялись, что рано или поздно иссякнет прорва. Должно же это наступить когда-нибудь, думали они.

Но у нас была та сторона и договор с перевозчиком. Когда мы возвращались с добычей, этот прищурок причаливал не к мосткам, где он прибил вывеску "МПС. Расписание движения", а выше, за кустами, у будки. Стоило это обычно по девять патронов или одна граната со всех, а когда мы отдали один ящик тола, то он нас возил неделю бесплатно. Папаша сказал, что из-за этого ящика все и вышло.

Когда Мариванна решила положить конец нашим шалостям, так получилось, что мы неделю сидели дома. Про ту сторону нечего было думать: как из ведра; дальше моря никуда не выходили. Гаврилыч говорит: "Ты не боишься, Машенька, что они будут плохо спать или начнут заикаться?" "Ничего, ничего, — отвечает Мариванна, — пусть лучше заикаются". А на утро она взяла в санатории "скорую" и отвезла нас в больницу, чтобы показать там в холодном подвале, что бывает с теми, кто балуется с "железячками". Она нам не сказала, кто это был такой, и мы особо не разглядывали, что там такое на носилках. Вот носилки нам не понравились: все в пятнах. А сам подвал, как подвал, чисто и никого нет, только капает вода в подставленный тазик.

Потом, когда мы выгружались из этого драндулета, совершенно обалдевшие от тряской езды и вони карболки, все думали, что мы "под впечатлением" и не сможем обедать. Папаша говорит: "Наверно, у него не было стеклянного шара". Главное разочарование наступило, когда оказалось, что аппетит не пострадал.

Ведь мы же не знали. Это нам Лиса потом сказал, что перевоз не работает, а мы пошли и увидели, что там остались только мостки. Не было ни будки, ни вывески. Валялись ломаные доски, ботинки, спинка кровати, шпротные этикетки, на которых он рисовал билеты: "МПС. Туда-обратно. 20 копеек". Затопленная лодка торчала у берега, а на берегу остался след от машины.

— собор. Панеуа. —
"Так вот, выходит, где Мариванна собралась, — Вот почему за ней приезжал Карлуша". И мы убежали. Мало ли Мариванна что-нибудь забыла или не заметила, она сама говорит: "Я такая растяпа!"

А может быть, мы боялись, что нас там застукают? Почему мы бежали? Куда?

"При чем тут "боялись" — как-то сказал Папаша, — и не потому, что

было бы противно вляпаться в камышах в какие-нибудь кишки, и не смерть, потому что мы не могли еще знать, что это такое — она была для нас, как отсутствие, не больше : исчез придурочный перевозчик, рассыпался, исчезла мать Анны, мы ее больше никогда не увидим, они теперь там, за чертой, это не страшно. Мариванна — вот кто заставил нас драпать по грязи, по мокрым кустам, орать и захлебываться, она показала нам там, у реки, на мгновение, в своем истинном облике, нас поразило ее знание. И мы, хотя не поняли еще, кто она, почему ей это дано, зачем, бежали к ней".

А Мариванна стояла у своего любимого столбика крыльца, как всегда с папиросой, держала в руке спички и разговаривала с кем-то в окне, поглядывая туда вполглаза, как чайка, которой мешают выйти походить ножками. Она, оказывается, думала о нас : кем мы, в конце концов, вырастем, если вырастем, конечно, потому что болтаемся вместо ужина под дождем, как бездомные собаки.

"Знаешь, Варя, им не следует давать на ночь арбуза, еще опишутся", — говорит она. Тут мы просто попадали со смеху. Мы никогда еще так не смеялись, зашлись, не могли остановиться. Нам сказали, что действительно не дадут арбуза, если мы не прекратим идиотничать. Кончилось тем, что дали валерианки. Еле успокоились. Вот, как эти девчонки.

Гаврилыч сказал, что им так понравился анекдот про колготки. Появились форели, соус. Гаврилыч приготовил его у нас на глазах: растопленное масло, яйца и зелень — все принесла толстая директриса. К нам на стол ревниво поглядывали всякие тетки, которым подали карпов. Девчонки его хрюкали от удовольствия. Но мы-то знали Гаврилыча. Он это всегда любил, так же, как любил менять рубашки и галстуки "Тревира" по три раза в день, как свой "Роллейфлекс", в который поминутно сверху заглядывал.

Говорили, что у него были выставки в Праге и еще где-то, видели толстый журнал. Там, Папаша читал, написано, что на фотографии Гаврилыча вовсе не то, что нам видится. Скажем, вот что это? — там далеко бежит собака; а на этой? — Вода; здесь — неизвестно : люди сидят, может в карты играют. И все. "Только это не так. Там написано, — сказал Папаша, — что это весь мир, в смысле, целый, а не какая ни одна собака. Потому, наверно, мамки смеются: "Гаврилыч, да ну Вас! Разве это я? Дайте сюда, не надо никому показывать." В общем, как Ситто и Коритто, которых мы понимали постольку, поскольку они хотели нам всучить рыбу, а если бы мы собрались расспрашивать их про ту линию, мол, что там такое? какая она? — так никто бы ничего не понял".

Говорили про женский монастырь, который где-то тут недалеко, который никто никогда не видел.

Сильно воняло кухней. У буфета открытое окно надувало тюль. Гаврилыч сказал, что обед следует заканчивать кофе. Это значит, надо ехать на дачу, потому что тут кофе — не кофе — бурда из ведра. Мы нагнали в машину. Сзади было полно бутылок от пепси. Я помог Ларисе Кардаевне устроиться — выставил на поребрик всю эту кучу, чтоб не капала под ногами.

По дороге Анна сказала: "Тебе тоже хочется спать с ней?" Спать! Спать, гулять, слышать, дышать, видеть, ненавидеть. Догонять. Гаврилыч ехал назад, за угол, потом прямо. Поехали.

Мы закачали на ухабах — тут рядом водокачка, все время копят, не разгонишься. А куда нам спешить, когда на море не пускают? Мне нравится запах двадцать первой "Волги" и еще, как она идет по грунтовке. Мы учились водить ее на таком вот песке. Тогда на этих улицах асфальта не было, а потом часто катались. Нас можно было найти по следам, но кому это было нужно тогда? И потом: мы же крали свою машину.

Гаврилыч что-то смешное рассказывал: "...и вы можете представить, что было со старухой, которая своими руками уже построила один знаменитый канал". Он спросил, обернувшись: "Кузьма, зачем ты показывал плак Сталину?" — все смеялись. Мы проезжали светлый парк, когда-то там, действительно, белели гипсовые статуи, меня там укусила гадюка. Я помню, что мы растерялись, но никто не испугался. Анна заревела только,

когда Карлуша стал отсасывать из ранки. Собралась жуткая толпа. Мы увез меня к врачу в ближайший санаторий, и пока мне там что-то делали с ногой, эти тут, говорят, не знали, что делать с девчонкой, которая пинает дохлую змею. "Не плачь, девочка, — суежились они, — как тебя зовут? Ты, девочка, потерялась? Где, девочка, твои родители?" Анна им отвечала: "Не скажу!" Какой-то дурак закинул гадючьи остатки на кадр. Папаша сказал: "Хана, теперь тут все пропиталась ядом".

Приехали. Мне пришлось переставлять нашу тачку, чтобы "Волга" могла заехать. Мы долго сидели на веранде. Кофе пили, Гаврилыч вытащил какой-то ликер "для девушек". Анна велела нам зарядить сифон. В коробке оказался стеклянный шар в стальной оплетке. Папаша сказал: "Ага, теперь понятно, куда они все подевались." Гаврилыч ее похвалил: "Молодец. Я и сам подумывал завести в доме огнетушитель". — "А газированный бензин горит?" — "А вы, что не пробовали?" — "А вы пробовали. Наверно потому, что тогда не было автосифонов, тогда они были свободными и таились в волнах."

Сегодня бы поискать ... Ветер садится. Впрочем, что это может изменить. Девчонки крутили какие-то собачьи вальсы и плясали. Мы с Папашей вышли и забрались к Гаврилычу под капот: он просил посмотреть, почему бывает, что нет зарядки. Натянули ремень, а когда вернулись, маскарад был в самом разгаре: они вытянули всякое барахло из кладовки и воображали себя красотками в стиле модерн. Гаврилыч щелкал затвором.

Вспомнили про монастырь: "Поедем! Поедем!" — кричали — "Шампанского купим!". "Можно я шляпу надену? А вы зонтик возьмите."

"Он будет кучером, а вы — графиней. Ха, ха, ха!"

"Нет, пусть Анька будет женщина — вамп. Дайте ей что-нибудь на шею. Гаврилыч, у вас нет горжетки? Пенсне? Пенсне дайте доктору!"

"Пусть он будет Чеховым! Папаша, ты будешь Чеховым."

"Нет, — сказал Папаша, — я хочу быть перевозчиком. Ведь нельзя же без перевозчика. Я перевезу вас за поцелуй в рай. Нет-нет, с мальчиков я беру динамитом! Дайте мне ружье. Там в раю, говорят, медведь водится."

Анна сказала: "Ты не будешь перевозчиком, я тебя не пущу".

"Не мешай, ты ничего не понимаешь. Перевозчики просто так не взрываются. Для этого нужен детонатор."

Кто первый сказал эту фразу?

Тогда в то сумасшедшее лето, уже в конце, когда заказаны машины, но этот абажур еще висел, случился преферанс. Они раньше смеялись: "Как дождь, так преферанс, как преферанс, так дождь".

Гаврилыч поглядел в карты: "Ну что за черт! Хотя бы одну игру сыграть по-человечески, господа. Пас, — он собрал карты, помолчал и говорит, — Это даже хорошо, что они так верят в свои шары. Руки, по крайней мере, не дрожат. И вообще, в этом что-то есть. Вот я, например, дьявольски умен, но кто мне за это заплатит. Я не могу сказать, что мне в жизни так уж повезло. Может, потому что у меня нет стеклянного шара? А, господа?"

Мариванна бросила карты и вышла. Мы видели через стекло, как он долго стоял у калитки, высматривал белые босоножки, может, звал, может, прислушивался. Только что услышишь, когда так шумят сосны?

Он вернулся один, поднял ее карты: "Подумать только — чистый мизер".

А Веранда говорит : " Да, бросьте, Вадим Гаврилыч, куда она денется? Вот пискля. Сколько она уже тут работает – провинция, сантименты". И тут, если бы Гаврилыч не подставил ногу, то Папаша достал бы ее этим самым ружьем, он хотел ее ударить стволами, и неизвестно, чем бы это все кончилось, потому что кто бы ее перевязывал, когда Мариванны нет, она растворилась, а Папаша кричит : "Перевозчики просто так не взрываются!" Что это значило, он и сам, наверно, не знал.

Мы долго болтались по участку, не замечая, что уже сумерки, что горит на веранде зеленый абажур, забыли про Ларису Аркадиевну, которая сидит там и смотрит на снимок. А там их всегда было два. Один – портрет Анькиной матери, а другой, мы его видели в том журнале, называется " Мне на ту сторону" – пейзаж : широкая пойма, тростники, дорожка, крыша будки придурка того, а за рекой будто нет неба. Там еще кто-то идет, но лицо смазано, впрочем мы никогда не пригляделись.

Никто даже не заметил, что Папаша пошел к машине, бросил туда ружье, завелся и стал выруливать за ворота. Гаврилыч тоже поднялся, прислушался. И тут мы услышали гул. Это были тяжелые машины, военные грузовики. Они выползали из тупиков, из-под кирпичей на шоссе. Мы не разбирали, что кричат командиры, но увидели за деревьями огоньки. Колонна пошла. Зазвенели чашки. Папаша нетерпеливо сигналил. Хлопнули дверцы. Гаврилыч выехал за нами. Мы мчались мимо пустых темных коттеджей, свернули на шоссе, еще направо, под " кирпич" на черную грунтовку, где уже нет домов, и выскочили прямо на песок.

Пляж был пуст. Сколько было видно справа и слева – никого, тихо, как на той фотографии. И мы, как дети, которые что-нибудь тянут или закапывают свои сандали. Мы глядели туда, где стоял фотограф, готовый щелкнуть, когда все встанет на свое место.

Мы ждали щелчок, только вряд ли его услышим, потому что мы очень далеко.

За нами начинала сгущаться тьма.



И никто не помчался к воде, никто не вглядывался в кромку прибоя, не ворошил водоросли. Мы пришли первыми, но никто не тронулся с места, просто вышли из машины. Лариса Аркадиевна, мы с Анной, девчонки, Папаша с Гаврилычем. Оттуда, из устья медленно плыли гудки маяка, трещали "последние известия", сзади разговаривали.

— В чем-то это дело деликатное, — объяснял Гаврилыч Папаше, — так тебе придется платить налог, пошлину — это нужно учитывать, а так — только пошлину. Что ты говоришь? Ну, если форма доверенности тебя не устраивает, можно решить через магазин. Как сколько? — Двадцать процентов. И то, и другое убьет целый день. Ты когда уезжаешь? Уже? А о чем ты раньше думал? — Они так и стояли возле машин. Гаврилыч возился со штативом. Папаша разглядывал над собой последние облака.

Девчонки спросили у меня спички.

— Терпеть не могу прошмандовок, — сказала Анна. Я оглянулся, девчонки прямо за нами собирали ракушки. Слава богу, они спорили о том, кто-бы что сейчас съел:

— Я никогда не откажусь от баночки кальмаров. Вечно мать их накупит и спрячет на праздник. А я прихожу домой, беру вилочку, баночку майонеза, вот так вот берешь его, макаешь и — ах! Ой, опять розовая. С булочкой мяконькой...

— А я — нет. Я хочу... Слушай, у кого мы были, как его, Вадик или Владик? Весной были, что-то мы сдавали тогда, диамат? Когда смеялись, когда вы пошли к таксистам, а я причесывалась в ванной и ничего там не слышала, ничего не разберу, что кричат: "Четыре рубля! Четыре рубля!", — думаю, может, вам не хватает, и полезла в сумку, а под дверь что-то мохнатое лезет — я как заору, — ну ты помнишь, какая там квартира: все что хочешь может быть, а это — балда — сунула мне под дверь тапок эскимосский. "Я, — говорит, — ^{не} знала, что ты там делаешь, а мне надо домой, — откуда я помню, что она мне должна, — извини, говорит, что мелочью." Помнишь? Помнишь, какой у них плов был?

— Ага, и огурчик маринованный... Вот, вот, что я нашла.

— У меня тоже такая есть. Посмотри, что там на шее: комар укусил или что? Во-во, повыше. Надо чем-нибудь помазать.

Гаврилыч держал тросик своего аппарата. Интересно, что у него получится при таком освещении? Вообще-то, красиво: Лариса Аркадиевна зашла босиком в воду, потрогала ее — черный силуэт, и мы, наверно, и девчонки на корточках, а там блеснит.

Но, смею заметить, — говорил он Папаше, — отнюдь, отнюдь: только потому, что хочу воспользоваться льготами, которые мне положены, как участнику. Я всю жизнь прожил на общих основаниях, а теперь буду... Что ты смеешься? Да, на общих основаниях, да, нечем гордиться. Я знаю, что мы все проиграли, но и вы пока ничего не выиграли.

Посмотрим. — Я не слышал, что ему говорил Папаша, он продолжал глядеть. Облака улетели, там теперь сияла широкая белая полоса, я сначала подумал, что это кусок инверсии, но она была значительно выше.

— Как они мне надоели, я не хочу с ними никуда ехать, и Гаврилыч зануда, — сказала Анна. Она забралась ко мне под куртку — вечно зябнет.

Гаврилыч щелкнул затвором. Может, у него какая-то специальная пленка для темноты?

— Ну и что, — продолжал он, — мне в свое время очень нравилось. А как же! Выходишь, бывало, из мягкого купе в коридор размяться, дамы оглядываются: "Шу-шу-шу, шу, шу, шу. Знаменитый адвокат... Тот самый..." А у меня костюм — вот такие лацканы, сорочка, ты представляешь, манжеты, держу руку так (я курил папиросы), ногти. Ни на кого не смотрю, открываю окно, ночь крошечная, а там паровоз: бы, бы, бы! Сажа? Не было никакой сажи. — Он снова поймал тросик и уставился в аппарат. — Отойди, пожалуйста. Что ты, как... Ах, это... — Гаврилыч посмотрел вверх. — Это серебристые облака, покажи им. — Он перенес штатив поближе к девчонкам.

— У нас в магазине стоит "Алазанская долина".

— Позвони Маше.

— Позвоню, она обещала мне зубного, я уже целый год не была.

— Да брось ты, пойдешь к Вике или к Елене Борисовне. Только я не помню, когда она: по четным в утро или по нечетным?

— Где? Ой, я не вижу, где? Ты видишь?

— погоди, по нечетным она в вечер, точно! А что там? Какие? Серьезно?

Все смотрели на огромное белое перо, которое закрывало полнеба. Даже Анна высунула нос. И все радовались — вот оно, то, чего мы, наверное, ждали, и теперь мы можем спокойно уйти, уехать, потому что тут нам уже нечего делать.

— Смотрите, что это! — сказал Гаврилыч.

Прямо на нас из-за сосен вылетели утки. Их всегда узнаешь: они часто-часто машут крыльями, три пары, довольно низко. Мы уже слышали их, они переговаривались. Что-то щелкнуло. Я увидел, что Папаша поднимает ружье. Когда он успел достать его из машины? Левая пара резко повернула к дню, а эти, наверно, молодые,

тянули шеи прямо на нас, вот по ним он и ударил. Первый дал осечку, а второй бахнул прямо над нами. Девчонки завизжали. Я не видел за вспышкой, попал он или нет, и в воздухе не увидел — они сразу, кто куда.

— Есть?

Папаша показал в море. Возле Ларисы Аркадиевны что-то плеснуло.

— Держи ее, а то уплывет!

Она нагнулась и достала из воды дергавшуюся утку.

Мы с Гаврилычем поздравляли стрелка, когда услышали, что там что-то происходит: как-то возня, крики.

— Отдай! — кричала Анна, — Отдай мне, отдай! Отдай, сволочь! — Она что-то вырывала у Ларисы Аркадиевны.

Папаша побежал, но опоздал: Анна толкнула, Лариса Аркадьевна села прямо в воду, Анна стала бить ее уткой. Папаша поймал ее за руку и повел к машине, а она кричала сквозь слезы:

— Ненавижу, убью, ненавижу!

Девчонки помогли Ларисе Аркадьевне, она им что-то говорила, показывала юбку, стала искать свои туфли, которые бросила где-то в песке, когда пошла трогать водичку, как знала, что придется искупаться. Папаша посадил Анну в машину к Гаврилычу. Тот неожиданно засуетился:

— Девочки! — позвал он, — девочки, по местам!

Папаша осматривался, не забыли ли чего: шаль, шарф, какая-то корзинка, ружье. Я все подобрал, сложил к нам.

— Держи! — он бросил мне ключи, а когда все они набились к Гаврилычу, крикнул: "Отвезешь Ларису Аркадьевну".

Где она в этот момент, я не видел. Заглись малиновые габариты, и они поехали. Поехали.

— Я? А чего это я? Эй, эй! — Но они и не оглянулись. Я видел за стеклом их затылки.

Она теперь смеется: "Никогда не предполагала, что кто-нибудь станет так огорчаться, оставшись со мной вдвоем."

Так оно и было. Когда я услышал, что они свернули к Таллинскому шоссе, то от досады никак не мог завести машину: "Ну же, ну же, ну! Вот скотина!" Даже забыл открыть ей. Спереди у меня было навалено барахло, а сзади кнопку заедает, но она как-то сумела сама, влезла на заднее сиденье и уже устраивалась там с мокрой юбкой. Во все стороны сыпался песок, а я все крутил стартер и дергал заслонку.

Потом чуть не застряли. Поехали. Хорошо, что дорога была пустая, а то мы выскочили на асфальт, как черт из банки, задом, без света, безо всего, и погнали к "Маяку", к почте, я не знал, куда ее везти, и, когда она тронула меня: "Здесь направо, пожалуйста, — послушно включил мигалку. Потом она сказала: "Теперь налево". И мы приехали.

На пустой вернаде горела зеленая лампа, все было настужь. "Коню понятно, зачем они здесь оставили. Но ничего. Сейчас я быстренько все закрою, соберусь и поеду. Догоню. Куда они от меня денутся?"

"А она? — подумал я, — Она, наверно, что-нибудь забыла."

"Надо же было тебя утешить, ты был так расстроен", — говорит она.

Нет, не так. Я теперь знаю. Она тогда сразу спросила: "Где его комната?" А я не сообразил, бегал, искал чего-то, кажется, ключи, носки, сумку с^об красную. "Вот его, — говорю, — пожалуйста." Я же не думал и потом, у нас так не принято, это его комната, она открывается только, когда он приезжает, ключ, правда, всегда торчит. Мне было не до нее: ключи, носки, газ выключить, форточки закрыть, а времени в обрез.

Чашки, рюмки, корзинки, горжетки, вуалетки — это пусть они сами убирают. Мое дело — газ, водопровод, электричество, пожарная безопасность.

Через минуту она выкинула оттуда за дверь свои шмотки. "Эй, эй!" — она оттуда: — "Принесите мне спирту, если есть. Развесьте, пожалуйста, это все у камина." Поверх я увидел белые трусы в песке и тине.

Ком мокрой одежды был теплый, и этот запах, нет, не запах, а будто ветер тянет с той стороны, оттуда, где была лодка и перевозчик с его песнями, где ее обычно сажали между нами на банку, чтобы мы с Папашей не перевернули и не потопили всю компанию на середине реки.

"Вот и догнал", — подумал я.

"А тогда, что ты тогда про меня подумал?", — спрашивает она.

Тогда? Когда я принес спирт, она лежала вся голая, кверху задом. Разотрите мне спинку. Много не лейте! Мне даже не пришло в голову сесть. "Спинку...", вряд ли я когда-нибудь делал что-то подобное. "Спинку..."

"Это верное средство, — говорила она в подушку. — Согласитесь, сейчас не время купаться. Я не собираюсь проболеть свой отпуск из-за психопаток, из-за того, что у кого-то не все дома".

Мне, конечно, было неловко за Анну, которая выкинула такую штуку, и перед Анной, вроде, неловко за то, что я тут глажу "по спинке" Лариону Аркадиевну, хотя я даже не думал, почему это все произошло. Я думал, как мне быть джентльменом.

"Да, я это почувствовала, — смеется она, — ты очень старался быть джентльменом. А про меня, что ты тогда про меня подумал?"

Она говорила, что не хотела никого видеть, что специально никому не сказала, куда поедет, хотелось элементарного покоя. А тут все, оказывается с ума посходили... И тому подобное... Уже не помню, не слушал. Эта страна, открывавшаяся мне с птичьего полета, покоряла. "Мать честная! — думал я, — Вот здорово! Спинка...". Мне было приятно, что я могу ей помочь.

Он мне как-то говорил про то, что каждый воображает себя врачом.

Ей-богу, у меня в мыслях ничего не было, а она вдруг перевернулась и поймала за руку. "Погаси, — сказала она с закрытыми глазами, — погаси, иди ко мне". И едва я дотянулся до выключателя, обожгла щекой.

"Нет, скажи, что ты про меня подумал? — спрашивает она.

Скажи, ты подумал, что я — бэ?"

Бэ? какое "бэ"? Нет такого слова и тогда уже не было. У меня в голове было слово "александра". "Александра-Александра, Александра-Александра, Александра-Александра!" — оно было главным, как команда или припев, я чувствовал, что это где-то там, впереди. Перед глазами прыгали в пыльной перспективе мятые водостоки, карнизы, фасады, я чувствовал, что она меня торопит, но улица была длинная-длинная. "Александра-Алексоандра, Александра-Александра", — распевал я на бегу, пока вдруг не вырвалось наружу сквозь зубы другое "женщина". Я упал, будто подвернул лодыжку, и зарылся, не знал, куда деться. Мне было жутко стыдно. Какое гадкое слово! Откуда?

Я, как сейчас, помню странное ощущение: будто лежу на спине, и ослепительный жар ровно и безжалостно палит тело, сушит мое вещество, и я не могу укрыться, потому что кругом пустыня — камень и пыль,

и я искалечен железом, но знаю, что там, у меня за головой, где-то неизмеримо далеко, великая горная страна — скалы, пропасти, синие леса, откуда начинаются реки.

А на самом деле я лежал носом в подушку, унижительно приклеившись к простыне. Краем глаза видел квадрат окна — чистую прозрачную темень, это меня успокаивало. "Ну а что случилось? — думал я. — Что тут такого? Она может понять, что оно само появилось, будто кто-то сказал, а я повторил, обезьяна", — казалось, что я ее страшно обидел этим и тем, что повел себя, как скотина, чем и оттолкнул. Иначе, почему она ушла?

"Черт, что за жизнь!" — вздохнул я и пошел вниз возиться с камином. Там все прогорело, но от углей был жар. Я не мог понять, зачем ей понадобилось все это устраивать? За стенкой пищал душ, она там отмывалась. "Да, от меня". Потому что песок сам осыпался, песок и тина остались в папашиной койке. "Видно, она решила, что я деревянный" — я шуровал кочергой. Рядом на стульях висели ее шмотки: юбка высохла, свитер еще тяжелый; от него шел пар, пахло заливом, вперемишку с ее одеждой, которая напоминает запах дудок. Она, когда пошла мыться, повернулась и сказала от двери: "Вы очень похожи". Что она хотела этим сказать? Чем? "Впрочем, ладно, это уже все равно. По волосам не плачут."

Я открыл какую-то книжку, первую попавшуюся:

"... Сокрушенный могучим ее бытием. С красоты начинается ужас."

Запах одежды мешал сосредоточиться. Точно ветер тянет с той стороны.

"... Каждый ангел ужасен, — читал я, —

стало быть, лучше сдержаться и вновь проглотить свой призывный, темный свой плач".

Я рассмеялся и вспомнил. Он как-то сказал, что не следует каждые пять минут лазить на крышу, что надо только прикидывать, как мы выглядим сверху, то есть, надо помнить, что есть такой ракурс. Мне нравилось то, что читал:

"Ах! В ком нуждаться мы смеем?

Нет, не в ангелах, но и не в людях".

Пришлось отодвинуться: Славный камин устроил Гаврилыч. Пламя убегало в трубу бело и бесшумно, — Это потому, что дрова березовые, они не стреляют, зато там, над домом — целый фейерверк и прозрачный дым, который все выше и выше. "Господи, какая... Какие неожиданные переживания!"

"И уже замечают смысленные звери подчас,

Что нам не так уж уютно

В мире значений и знаков". — "Золотые слова!"

Я слышал, что вола все бежит, стекает. Там в подвале, под ванной, целая система со всякими чертовинами для стопления, но ее же надо включать, сама-то она не нагреется: "Значит что? Значит она все-таки простудится".

Теперь я знаю, что она может просто так закрыться в ванной на час, а тогда я не знал, тогда я навалил в огонь кучу дров и орудовал кочергой, чтобы они все равномерно горели, чтобы ей было тепло, когда она выйлет, — она там, наверно, уже посинела. Я все придумывал, как бы это ей сказать про то, что "не в ангелах, но и не в людях". Я снова взял книжку:

"Нам остается, быть может..."

Эти поехали и не оглянулись. "Нам остается только сказать: позвольте, я вас отвезу, как мне было приказано". Я вспомнил, что машина так и стоит на улице, если, конечно, не уехала сама по себе, но так и не пошел смотреть, только покосился на веранду. Там ветер листал "Сидуат" — черные невзлимые страницы посередине стола.

Она положила и обняла меня сзади чистыми руками, вся в каплях. "Вот, вот, вы абсолютно одинаковые", — она указала в книжку, которую я держал на коленях.

"Нам остается, быть может,

дерево там над обрывом, которое мы ежедневно видели бы; остается дорога вчерашнего дня..."

А ведь это была ее книга, та самая, где она держала страницу пальцем. Она потому и открылась на этом месте и еще потому, что все остальное слиплось от воды. Я уже открыл рот сказать, что теперь придется сушить каждый лист утюгом, иначе все покоробится, но она покачала головой: "Нет, нет, оставь, ничего ей не будет". И потянула меня из кресла к лестнице, от огня, снова вверх. И там, в комнате, отпустила, стала поправлять постель. Спина у нее блеснула, как в полдень.

Я подумал, что, наверно, не следует так смотреть, и оглядывался посередине, будто все видел впервые: бритва, шкаф, разные ботинки, которые вылезают из-под кровати, голое окно.

Она все с кровати свалила на полконник. Ни одного стула. Тут вообще ничего нет, как в номере. А его книжки, бумажки, разные штуки, которые он делал, или мы делали, или просто где-то нашли, валялись по всему дому. Даже стеклянные шары он пускал плавать в

бочку под восток. И я могу спорить, что там, у него на службе, у него в доме тоже, как в номере, и всякий, кто заглядывает, думает: "Интересно, доктора обчистили, или он сам пропал занавески?" Нет, он всегда помнит, где что оставил. Порхнула простыня и наполнилась.

Посыпались какие-то заколки, песок. Я нагнулся. Тут когда-то стояла моя раскладушка. По утрам я свистел в дудку: "Вставай, вставай, штанишки надевай, трусики натягивай, беги - гуляй". А ночью мы смотрели в трубу. Они тут валялись под раскладушкой. Этот запах... он так и остался.

Она прошла совсем рядом. Я подумал, если она мне ничего не скажет, я так и останусь стоять посередине. А она ляжет спать и погасит свет. И уже, наверно, в десятый раз оглядывался: бритва, шкаф, разные ботинки, которые вечно вылезают из-под кровати, сколько их туда не заталкивай, голое окно, сосна, звезды и еще старая, в полный разворот "Нешенал джеографи", фотографии обломков "Боинга", рассеянных по каменистой пустыне, где кругом - Анды, Анды, Анды, скорбные облака и ни одного живого существа, наверно, на пятьсот миль. Вот такие обстоятельства места. Мы пропадали там, когда нас не пускали на море. Вглядывались в точки журнального раstra: нам казалось, что это слетаются горные орлы. И не только потому, что там можно что-то увидеть. Туда можно смотреть часами. Но сейчас и в этой рамке, и в черном окне, и повсюду было ее отражение," которое мы ежедневно видели бы".

Я ждал, когда она мне скажет, как накануне: "Иди ко мне, сюда".

"Ты был таким смешным,- говорит она,- ты стоял на цыпочках".

Я не понял, когда она вдруг спросила: "Два индейца под одним одеялом не замерзнут?" Я растерялся, но она потянулась ко мне, чтобы я почувствовал, какой у нее мятный, после пасты, утренний рот. Чистый и веселый, потому что она смеялась, - у меня был, наверно, глупый вид. В черном окне вспыхнула солнечная спина. Я увидел, что по ней елозит какая-то куриная лапа. И тут она так же весело, словно мы гоняли в футбол или просто возились, как-то изловчилась хитро толкнуть, и мы повалились в койку, отчего постель съехала. Мне тоже стало смешно, я ведь ей хотел сказать про то, что "не в ангелах, но и не в людях". Я давно так не смеялся.

Не знаю. Наверно, потому, что он никогда об этом не говорил. Но тогда я был железно уверен, что он сказал бы так: "Мы переживаем мгновения, вмещающие в себя целый мир". И вдобавок утренний рот, после пасты.

Я подумал: "Будто открыли окно". Но оттуда повеяло - так пахнет под солнцем кожа на плече девочки в лодке на середине реки.